

15 января 2015 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся русскому прозаику, ветерану Великой Отечественной войны Евгению Ивановичу Носову. Его бессмертные произведения “Красное вино победы”, “Шумит луговая овсяница”, “Усвятские шлемоносцы” и многие другие вошли в сокровищницу классической русской прозы. Носов, безусловно, был одним из самых лучших стилистов. Его творения постоянно печатались в “Нашем современнике”, и, поминая Евгения Ивановича в эти зимние дни его юбилея, мы публикуем два его рассказа.

## ЕВГЕНИЙ НОСОВ



## КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

### РАССКАЗЫ

По мокрому, туго распыленному брезенту мелко, просяно сеялась назойливая морось, наполняя гулкую утробу палатки шепелявым усыпляющим шепотком. Временами дождь припускал, и тогда вкрадчивый шелест переходил в нетерпеливую раздражённую скороговорку, заглушавшую мой изрядно приспособленный приёмник.

Из палатки виднелись серая плоскость реки в мелких кольчужках дождевого накрапа да край тусклого неба без малейшего намёка на просветление. Заречный берег едва проступал сквозь мгlistую наволочь. Иногда из размытой глубины лугов объявлялись на урезе призрачные, бесцветные и плоские коровы и так же бесследно иставали, словно растворялись в небытии. Выходил и подолгу стоял у края воды пастух, тоже призрачный и бесцветный, в конусном клубке. Высмотрев мою палатку в мутном хаосе лозняка, он окликнул меня вопросом: “Который час?” Пастухи знают время и без часов, почти с безошибочной точностью они ощущают его неосознанно каким-то своим, внутренним самосчётом, и потому спросил он меня просто так, из любопытства: кто таков, что за палатка? Было начало пятого, я прокричал ему время в ладони, не высовываясь из-под навеса, и тот как-то не-

хотя, неудовлетворённо повернул от реки и растворился в ненастье. Вскоре раскатисто, ружейно громыхнул его набрякший сыромятный кнут, и осерженный хлопок многократ надломился эхом меж старых вётел.

Куртинки раkit и ольх, рассыпанные по лугу, тоже утратили свою плоть, обратясь в зависшие над землей причудливые декорации какого-то плоского одномерного мира. И оттуда, из той зыбкой потусторонности, на эту, мою, хотя и неприятную, но всё же вполне реальную, зримую сторону всякий раз прилетал и с тем же размеренным постоянством возвращался обратно крошечный кулик-перевозчик. Он словно бы выискивал кого-то и тонко, удручённо призывал: “Пюи-и... пюи-и...”

Помню, в далёком детстве бабушка моя, исконная жительница этой реки, сама вязавшая сети и управлявшая плоскодонкой, просвещала меня, будто сия ничем не приметная птаха летает не просто так, сама по себе, а “сполняет Господнее послушание”. С рассвета и дотемна с одного берега на другой перевозит она души усопших. Я, стриженный под овцу, лопухий, не понимал этого и бестактно спрашивал: “А зачем?” Бабушка, возгораясь от моей языческой бестолковости, ревностно наставляла: “А затем, что всякой отошедшей душе перед тем, как явиться пред Всевышним, беспрерывно надобно очиститься от всего земного. Чтобы ни духу, ни запаху. А для этого положено пройти очищение живой бегучей водой, перенестись через реку или даже через малый ручей. — Бабушка верила в эту наивную легенду истоиво, без колебаний, с восторженной святостью, и я видел, как одухотворялось, хорошо её простое крестьянское лицо. — Вот только через озеро негоже. Ты понаблюдай: на озере кулик полетит-полетит, да тут же и воротится на прежнее место, потому как у озера берег един и вода в нём недвижна”.

“Может быть... Может быть, и так...” — вяло соглашался я спустя более полувека, наблюдая из палатки, как частил крыльями, неустанно трудился кулик-перевозчик. И привязалось почти на весь остаток дня:

*Перевозчик-водогрѣбщик,  
Парень молодой,  
Перевези меня на сторону,  
В ту сторону — домой...*

Мне и в самом деле надо бы уже на ту сторону. Рыба не брала: говорят, при низком атмосферном давлении ей не до поклёвок. Я даже перестал спускаться к удочкам, сиротливо торчавшим под берегом. Нанизанные черви, белесые, выполощенные водой, уже более суток висели нетронутыми. Между тем без рыбы, на которую был весь расчёт, мои съестные припасы иссякли до срока, остались лишь соль, лаврушка и чай-сахар без хлеба. Честно сказать, весь сегодняшний день я пробавлялся викой: вытеребливал стручки из охашки викоовсяной соломы, которую ещё по приезде притащил от недалёкого скирда для подстилки. Стручки попадались всё реже и реже, тогда как машина, забросившая меня сюда, по уговору должна быть только завтра во второй половине дня. Впрочем, уговор этот наверняка утратил свою силу: вряд ли какая-либо машина способна теперь пробиться к моему жалкому пристанищу, даже такая, как лихой четырёхста шестьдесят девятый “газон”.

Позади палатки, метрах в двадцати, за прибрежными лозняками, проходила дорога, если же не говорить преувеличенно, то растерзанный тракторами грунтовой просёлок со спѣкшимися динозавровыми хребтинами между ямистыми колеями. Таким он был ещё посуху, когда мой приятель, багровея и чертыхаясь, не раз хватался за лопату, чтобы срубить опасные надолбы. Ну, а каким он стал после затяжного дождя... Его состояние можно определить, даже не выходя из палатки: если в первые день-два ещё пробирались кое-какие отчаянные машинѣнки, то уже вчера за весь день протащились, надсаживая моторы, едва ли два-три борта. Нынче же с самого утра за палаткой стояла удручающая тишина. Лишь в обед, подоткнув подолю, возбуждённо галдя все разом, прошлѣпали обвешанные авоськами и сидорами деревенские бабы, должно быть, с далёкой электрички.

Дорога эта тянулась вдоль реки из невидных отсюда прибрежных деревень Жаховки и Верхних Чапыг, обезлюдевших, неприятно заросших бурьянами, к единственному в округе бревенчатому мосту и далее — к железнодорожной станции с нефтебазой, лесным складом, крепко, бражно разящим гнилой древесиной, с пивной забегаловкой, парикмахерской и прочими соблазнами глубинной цивилизации.

Конечно, будь мой приятель посообразительней, он мог бы оставить свой “газик” где-нибудь на станции и пешки, вёрст пять-шесть, дотопать сюда, чтобы помочь собрать и унести мои рыбацкие бебехи. Но, скорее всего, по законам современного прагматизма, завтрашнюю поездку он посчитает бессмысленной и перенесёт её до лучшей погоды. Ему, поди, и в голову не приходит, что я сижу тут буквально на боках. Скорее всего, придётся, взвалив на себя всё это: сырую, втрое отяжелевшую палатку, рулон спальника, замызганный котелок, неизвестно для чего взятый большой двухлитровый термос, ненужный топор, поскольку рубить им оказалось нечего, приёмник, одежду всякую, пук удилиц, два садка — с учётом того, что одного могло и не хватить! — и прочее, и прочее, также не пригодившееся, — придётся самому месить злосчастные километры до электрички.

*Перевозчик-водогрёбщик,  
Парень молодой...*

Да, единственное, о чём я жалел, что не взял с собой, так это о резиновой лодке. Она показалась мне лишней, но сейчас была бы весьма кстати: можно было, погрузив шмотьё, сплавиться на ней по течению до ближайшей деревеньки, просушиться, обогреться, похлебать щей и выпросить лошадку до станции.

Между тем, под толщей ненастного неба раньше времени за вечерело. Из скудной дневной расцветки исчезло последнее тепло — охра лозы, палевая зеленца отавы, — и всё заволокло быстро надвигавшейся освинцевелостью. Перед долгой сентябрьской ночью, уже по-осеннему ознобливой и жёсткой, неплохо бы испить крепкого горячего чая, чтобы потом, забравшись в нахолодавший спальник, греться изнутри чайным теплом. Но представив, что ради этого придётся лезть в мокрую, обвисшую от накопленной влаги лозняковую чащобу, уже многократно прочёсанную в прошлые вечера, где почти не осталось ничего подходящего для костра, а то, что ещё уцелело, вконец вымокло и осклизло, и вряд ли способно гореть, решил-таки не высовываться, чтобы не забираться в спальный мешок в мокрой одежде.

В мешок я всё-таки не полез: за эти ненастные дни и ночи нутро его насырело и дурно разило погребом, а потому, взбив порыхлей соломенную подстилку, я закопался в неё и накрылся спальником, как одеялом. Так было вполне уютно и телу, и душе. Впереди ожидали двенадцать часов кромешной темени — этого гнетущего беспредела, морозящего, капающего, булькающего, временами напряжённо умолкающего и снова принимающегося шелестеть, что-то нашёптывать и как бы тяжко ворочать тучами, завладевшего, казалось, всем мыслимым пространством, от которого меня отделяли весьма условные палаточные стенки, пропитанные водой донельзя и уже не создававшие иллюзорного чувства какой-никакой обители и защиты. Крупные дождевые капли, копившиеся на швах, провисах и под потолочными растяжками, с пунктуальной размеренностью то тут, то там шлёпались в солому, заставляя подбирать ноги, отодвигаться, избегая прямого попадания. В сущности, мне предстояло коротать долгую ночь, свернувшись на подстилке щепчатым калачиком и ощущая боком всю толщу земной тверди, по ту сторону которой ходили вниз головой уже проснувшиеся американцы, а над собой — безмерную глубину Вселенной со всеми её чёрными дырами и запредельной звёздной пылью. И это — в абсолютном одиночестве! Для такого отрешения необходимо определённое равновесие духа. Хотя бы для того, чтобы не прислушиваться с остановившимся дыханием к темноте и не впадать в мистическое оцепенение, если где-то за палаткой явственно хрустнет ветка или под тобой вкрадчиво зашебуршит солома. Испробуйте подобную ночёвку и, право,

вы сполна ощутите своё собственное ничтожество, тем паче если там, за горизонтом, в людском миру, вы занимаете самообольщающее положение и повелеваете другим.

Безмятежно дрыхнуть в такой обнажённой среде в полном одиночестве, без взаимной подстраховки, вряд ли возможно, и я, надо полагать, всего лишь коротко забывался, проваливаясь в грубое и недолгое небытие, тогда как в остальное время пребывал как бы в животном, сурковом анабиозе с замедленным кровотоком и мыслетворчеством, смиренно и терпеливо протискиваясь сквозь ночь, походившую на долгую и тесную трубу, в конце которой через много часов изнурительного прозябания должен забрезжить утренний рассвет. В этот вечер, однако, угревшись в волглom тепле соломенного логова, я сразу же отключился напроочь и очнулся невесть когда от ощущения какой-то перемены. Я нащупал в изголовье электрический фонарик и осветил себе на запястье: была всего только половина девятого. Впереди всё ещё оставалась целая ночная бездна. Приходя в себя и вслушиваясь в явь, я внезапно догадался, что именно могло отпугнуть мой сон и возбудить подсознание: меня обнимала глухая, вязкая тишина, почти осязаемо давившая на ушные перепонки. Дождливая мгла больше не скреблась в чуткие скаты палатки, ничто не капало с брезентового потолка, не тормошило по-мышинному солому, отчего ещё ощутимей, пронзительней сделалась наружная немота, поглотившая всё окружающее пространство: мокретью пресыщенную землю, прореженные лозняки, сронившие почти всю охряно-жёлтую листву, залитый львами просёлок, осунувшуюся и как-то сразу одряхлевшую от сырости викоовсяную скирду среди грубо вздыбленной плугами предзимней пахоты, а заодно — всё живое в этом напрягшемся тишиной ночном мире: вконец продрогшее зверьё по сырым чащобам и раскисшим норам и взьерошенных, наохленных, изголодавшихся птах на скользких ветках, не успевших отлететь в благие, тёплые края.

И вот в этой предельно натянутой, настороженной глухоте мне почудилось отдалённое чавканье. Я приподнялся и замер: не показалось ли? Нет, не показалось: чавканье походило на замедленные, неуверенные шаги, слышимые пока ещё в отдалении с тыльной стороны палатки. Порой вязкие переступы ног заглушались всплесками стоялой воды, после чего наступала долгая немая пауза. “Кто это? — не понимал я. — Зверь или человек? Может, заблудшая, спутанная лошадь? Или старый одинокий кабан, голодный и свирепый, выбредший на какую-нито поживу, способный в ключья изорвать мою квёлую палатку, а заодно и меня, такого же голодного и полудиавшего, по самые глаза заросшего сивой кабаньей щетиной?”

Через некоторое время за палаткой, за лозняком ещё раз обвальюно, раскатию всплеснулось, и когда возня в калюжине унялась, послышалось глухое, раздраженное бормотанье и даже рваные, задышпленные слова:

— Ну, ешь ты... дорога!.. Не яма, дак канава...

Понял я, что никакой это не зверь, не кабан дикий, а некто, бредущий с вечерней электрички. Расквашенным просёлком с залитым сметанной грязью колеями брёл он, надо полагать, в одну из прибрежных деревень, куда, собственно, и вела эта расхристанная дорога, из чего следовало, что этот пробиравшийся в темени некто — не иначе как местный землепроходец, поднаторевший абориген, ибо залётный чужак вряд ли сунулся бы в такую темень в такие разверстые хляби.

— Ну, попал, Ванька! И назад, пля, далеко, и вперёд неблизко, — говорил он сам с собой. — Хоть бы что-нибудь зыркнуло... Надо было, дураку, итить засветло. Хоть и дождь, да зато видно, куда ступить... Давай, пля, ещё по маленькой... Да и просидел, покуда не смерклося...

Теперь было ясно, что землепроходец, блуждавший во тьме, был зело пьян, и во мне шевельнулось неприятие и даже опаска, как бы он не набрёл на мое становище. Не было настроения возиться с ним, тащить его, мокро-го и грязного, в палатку, и вообще... Опять же — что за человек? Какой бес в нём сидит? Иной пьяный хуже дикого вепря. Того хоть можно отогнать внезапным окриком или зажжённой спичкой, ну, а залившего зенки до помутнения ничем не смутить...

С неприязненным вниманием вслушивался я теперь в каждый его шаг, в каждый хлопок и чавк, и показалось, что он нисколько не приблизился, а новость почему-то барахталась, месил грязь в одном и том же месте в топкой низине, вобравшей в себя всю окрестную жижу.

— Во, пля! Кепку, кажись, потерял... — донеслось, наконец, хриплое восклицание. — Ну, да, нету, пля, кепки... Вот это дак звезданулся! Не то что без кепки, а и без головы, пля, останешься.

Матерился он как-то так, спрехвала — обыденно, самосевом, должно, ничуть того не слыша и не замечая, будто с этим и родился на свет. Тем паче пребывал он, как ему казалось, наедине сам с собой, в полном безлюдье, да ещё в непроглядной тьме и непролазной погибели. Тут уж и не хочешь, да пультнёшь... В ущерб достоверности я, конечно, вынужден буду кое-что опустить или заменить отнюдь не эквивалентными синонимами...

А он по-прежнему сокрушался:

— Кепка-то ладная была. К голове притёртая... Никогда не слетала... А тут — на тебе, нету, пля, кепки... Ишо в тем годи с шурыком махнулись... На октябрьские... этим делом... Шурык как раз выгнал... Хорош был первак! В ложке до самого дна выгорал! Только б ракеты б заправлять. На это мастак! Пристал: давай и давай кепками махнёмся. Ну, хрен с тобой, давай... Он свою на другой день потерял... А я, пля, аж до сёдня доносил... Ладная была кепка...

В той стороне завозилось, засопело, зачавкало грязью, а потом снова донеслось пьяное сетование:

— Рази теперь её, лядогу, найдёшь?.. Куда ступаешь, чево руками цапашь — ни хрена не видно. Ровно в погребе. Мобыть, сам же ногами затоптал. Кабы б посветить, дак, ешь ты, нема, чем... Был коробок — весь размок на хрен. Карманы полны грязи... Ну, Ванька, жди от бабы выволочки... Спросит, игде, пля, валялся, на четырех лапах ходил? Как — игде? У шурыка был. Точильный брусок надо было спросить... Я рази, пля, виноват, что дорога такая? Канава на канаве. Чево, дура, орёшь? — Тово ору, что я воду таскать не буду... На тебе, пля, сто цибар треба. А у меня и так с бураков мочи нетути... Она, пля, завсегда так... Раззявится, аж видно, чево ела. Крокодил-баба...

Поддавший землепроходец, наконец, смирился с утратой кепки, потому как на просёлке снова зачавкало, донеслись его неверные, медлительные шаги, гибло вязнущие в засосном месиве.

— Ладно, завтра Маньку пошло поискать... Пусть, пля, пробежится до моста... Мобыть, я её не здесь, а ишо где потерял? Сколь разов, пля, падал... Хорошо, хоть зубы не обронил... Ишши их тади... Маньке надо бы сбегать до трактора. А то трактор утром пойдёт с молоком на станцию, тади — звездеч кепарю! Гусеницами изорвёт або в грязь утопит. Пятёрку только жалко: в подкладку от бабы спрятал. Кто же знал, что так, пля, получится...

И тут запутавшийся в ночи и бездорожье землепроходец враз впал в истовство, завопил зло и хрипло:

— А всё, пля, Семибабов, сучий потрох! Морду нажрал, аж на кухвайку обвисла... Какой год обещает защебенить, покрытие положить... Ни хрена! Пустой брёх! Как в район забрали — сразу про всё забыл... Как же так? Игде ж твоя совесть? А вот так: нету вас в списках... Как это — нет?.. А Куды ж мы подевались? Ведь и денги на это были отпущены... Ваша деревня, грит, теперь неперспективная... Подлежит сносу... Дак, а што вместо деревни-то будет?.. А ничево... Поле, грит, будет. Бураки посеют... Дак, а мы куда?.. Как куда? Старые — на погост, а молодым везде у нас дорога, понял?.. Чево ж не понять... Он умотал, теперь по асфальту катается... А ты, пля, ковыряйся тут рылом в грязи...

Сознавая, что здесь он один-одинешенек на всю забытую Богом округу, землепроходец вольно, распахнуто и даже с каким-то сладострастным остервенением обложил всех больших и малых толсторылов, а заодно и ни в чём не повинных святых отцов, не удосужившихся ощебенить просёлок.

— Неперспективная — а-йа! Чево-то она такая стала? Деньги дорожные, небось, с прихлебателями пропил, вот тебе и неперспективная... Сволочи...

Он, поди, опять-таки не туда и не так ступил, потому что в том месте, откуда сыпались матерки, как бы в отместку за это шумно и грузно всколыхнулись дорожные хляби, да так, будто со всего маху ухнул туда туго набитый мешок.

В ночи повисла неприятно затянувшаяся вакуумная тишина. Сколь я ни наводил ухо — в той стороне больше ничего не ворохнулось, словно бы землепроходец, этот подвыпивший Ванька-абориген, с головы до пят грешный в непотребной хуле всех святых и районных праведников, провалился в тартарары и накрыло его крышкой.

Уже не питая к нему прежней неприязни, я мысленно понукал его и почти братски упрашивал: “Ну, чево ты там? Давай вставай! Шевелись, что ли... Этак и утопнуть можно. Хлебнёшь жижи и — конец!.. А всё оттого, что распалёшь себя... Матерись... От этого вестибулятор слабнет, и мотор сдаёт от больших оборотов...”

Я торопливо натянул сапоги, запихнул в карман батарейковый фонарик и выбрался из палатки в крошечную тьму, как, поди, космонавты выходят из обжитых кораблей в дикий и неприютный космос.

“Ну, хватит, хватит... Давай вставай... Или хотя бы скажи что-нибудь”.

И он, наконец, внял посылаемым мной флюидам, моим позывным и, больше не тратя никаких человеческих слов, рванул гнетущую темень отборным матом без всяких комментариев:

— Там-тара-ра-рара-рам!

Но, вскарабкавшись на твердь, обретя равновесие и отдышавшись, всё-таки пояснил, что он этим хотел сказать:

— Во, Семибабов, радуйся... Ребро, кажись, насадил... Об железяку... как есть со всего маху... Тут не то кардан засосало, не то прицепную вагу... Дак, а сколько этого добра по всей дороге... Кто считал утопленные рублики? Тут нешто асфальтом крыть? Золотом на два пальца...

Сапоги вяло, неуверенно захлюпали в слепом неведении, будто брёл он, шарился с повязкой на глазах, прощупывая ночь охватно расставленными руками.

— Ей-бо, ребро выломал... — хрипел он болезненно и натужно, останавливаясь и передыхая. — Во, вишь, дыхнуть больно... Наружу ишо выдыхаю, а как обратно — аж искры из глаз... А мне завтра в Макарьино на распиловку... Доски пластать...

После того как он ещё раз оступился и тяжело, с отчаянным стоном упал, расплёскивая жижу, из него окончательно ушла недавняя пьяная бесшабашность, голос обмяк и засмирел:

— Ничево не узнаю... — жаловался он потерянно. — Как не своя земля... Всю жисть проходил... А теперь не узнаю... Ни одной верной приметы... Кабы зыркнуло где — месяц, звезда какая... Али собака брехнула, да-да б знать... А то — нигде ничево...

Он глухо застонал, как бы процеживая боль сквозь стиснутые зубы, и затаих, должно, не решаясь больше ступить, сдвинуться с места, будто весь изощёл, растворился, сделался обезличенным наполнителем непроглядной и алчной темноты.

— Где же это я?.. — упавше спрашивал он. — И куда мне теперь? В какую сторону?.. Мост я перешёл али нет? Ежли б переходил, дак, небось доски ногами почуюл... А то грязь да грязь... А мобыть, это и не дорога вовсе?.. Поле теперь тоже зыбью взялось, на паханное не ступить...

Я, наконец, выбрался за кусты. Человек находился совсем близко. Теперь я отчётливо слышал его сиплое, загнанное дыхание с каким-то жалобным, птенцовым писком на исходе. И даже разобрал затруднённый полушепот, те немощные, недоозвученные слова, которые, как мне представлялось, в обыденности, за её серой чередой прозябания, за опостылевшей земляной бескормной работой на чужом бескрайнем поле с непрменными опосля, раззящими с ног вышивками где-нибудь там же, на обочине, под кустом, и с утренним мутным похмельем, — за всем тем, что саму жизнь обращало в отупляющую дрёму, — запомнил эти слова, а то и вовсе забыл напрочь. Но они, отторгнутые повседневностью, не исчезли, не канули в небытие,

а сами собой береглись до случая где-то, и вот родниково высочились из-под слежавшихся, полусохших подкорок, из-под толщи прожитого и улегшегося однообразной пылью, — воспряли и отлетели в ночь робкой стыдливой мольбой:

— Ос-споди, не дай пропасть...

Наверняка человек не слышал меня, пока я, привыкая к темноте и отводя руками лозины, выбирался к дороге, не чувствовал и теперь, стоявшего в непосредственной близости, и продолжал бормотать, торопя слова:

— Спаси и помилуй... Спаси и помилуй мя, грешного... Не отвернись токмо... Буду век помнить...

Честно сказать, я не знал, что мне дальше делать, и, поскольку в моей руке оказался электрический фонарик, я нажал кнопку и направил луч впереди себя.

Низкий касательный свет имеет свойство зловеще преувеличивать дорожные изъяны. Но и с учётом этого проступившая из темноты льва, которую я не мог охватить всю разом, а прощупывал жёлтым овалом света по частям, воистину показалась погибельной и ужасной. Луч фонарика скользнул по мазуту мерцавшему, язвенно пузырящемуся вязкому разливу, отдававшему равнодушной надменностью всякой коварной прорвы. Простёршаяся хлябь бутрилась коростой множества островов и целых архипелагов, вывернутых из глубин и вознесшихся дыбом, словно в библейские дни сотворения мира. Избегая этой погибели, отчаявшиеся водители пытались проторить объезд по пахоте, но и свежий распуток долго не вынес: осел, провалился глубокими каньонами, сразу же наполнившимися чернозёмным мазутом, вознеся по обе стороны колесных вмятин лунные хребты и неодолимые системы, особенно если те спекутся потом на солнце.

В эти-то свежевздыбленные “кордильеры” и завело вконец потерявшегося землепроходца, не признавшего родные места.

По хриплому, протабаченному голосу и забористому мату во мне заведомо, сам собой сложился облик крепкого, ражего выпивохи, но когда я направил на него фонарь, то зыбкий луч его выхватил неказистое существо — хлипкого мужичонку в подростковой болонье, мокро обвислой и замызганной донельзя. Куртеечка была схвачена под животом женским перламутровым пояском, да и сама она, голубого, не наших полей и дорог цвета, с белыми лупастыми пуговицами, явно относилась не к мужскому покрою. Чуть приподняв фонарь, я увидел и его непокрытую голову, нахохленно вобранную в поднятый воротник. Голое заострённое темя тыквенно желтело от уха до уха, и лишь по бокам торчали мокрые, обсосанные ненастьем застрешные кудельки. В ответ на пучок направленного света в колодезной глубине запавших глазниц жёлтой фольгой, как на дорожных знаках, полыхнули округлые неясыевые глаза, полные недоумения и страха.

Стоя в глубокой развальной колее, почти до колен засосанный вязкой трясиной, ослеплённый светом, он не видел меня, и некоторое время оцепенело глядел на фонарь, в самый его воспалённый зрак, но, будто осознав какую-то опасность, внезапно сорвался и, будоража жидкое месиво и руша нагроможденные “кордильеры”, ринулся от меня прочь, в темноту, в глыбисто распаханное поле. Я продолжал удерживать его в пучке жидкого света, сколько позволяли возможности рефлектора. Через несколько судорожных прыжков он, однако, завяз, упал и, повернувшись на спину, по-заячьи замотал зелёными резиновыми недомерками, роняя и на себя, и вокруг земляные ошметки и крича панически высоко и визгливо:

— Не подходи! Не подходи!

Брезгливо, со всеми возможными предосторожностями я преодолел топкий, разбитый объезд и среди земляных глыб, небрежно навороченных “кировцем”, вновь накрыл лучом голубую болоньевую куртку.

— Не подходи! Не подходи, сказано! — продолжал, лежа на спине, вопить землепроходец, хватая тут же распадающиеся комья земли. — Чево пристал? Негу у меня ничево!

— Да ладно тебе! — как можно небрежнее сказал я. — Брось ломать дурочку. Я ведь к тебе по-хорошему.

— Зачем я тебе!?? — тревожно вскрикивал он. — Денег у меня нет, курить нечево... Чево надо!?

— Да перестань! Я ж тебя знаю, — продолжал я, осторожно приближаясь. — Ты — Иван! Верно ведь? Иван, да?

Тот настороженно молчал.

— А жена у тебя — Марья! Угадал? Ну, вот! А живёшь ты в Жаховке, там, за поворотом?

Землепроходец продолжал молчать, должно быть, сбитый с толку этой моей осведомленностью, но, заподозрив что-то неладное, вновь всполошился:

— Все равно не подходи! Я за себя не ручаюсь!

Отгаликиваясь пятками сапог, он, как был на спине, принялся юзом выползать из светового пучка.

— Ну, что ты такой... Я ведь в самом деле по-хорошему. Слышу — сто-нешь, думаю, худо человеку... Ты, что, вправду сломал ребро?

— Не твоё дело... — огрызнулся он, застась рукавом от фонарика.

— Давай погляжу... Может, перевязать надо? Это ведь не шуточки. Сломанным ребром можно лёгкое проткнуть... Давай, давай гляну.

— Сказано, не подходи! — прошипел он, и глаза его вновь, как тогда, я потерял его из виду, хотя чувствовал, что он ещё где-то тут, близко: наверно, стоял и, как зверь из укромья, наблюдал за мной, за маневрами фонарика...

Привстав и уже сидя на земле, он пошарил рукой в кармане болоньи, достал складник и ловко открыл его зубами.

— Во, видишь? Сунься только...

— Ну, и дурак... — сплюнул я. — Знал бы, что ты такое дерьмо, я бы не пачкался... Сапоги только зря угвадал...

Землепроходец поднялся на ноги и, оглядываясь на фонарь, не пряча ножа, попятился ещё дальше, в чёрное поле. Свет больше не добивал до него, я потерял его из виду, хотя чувствовал, что он ещё где-то тут, близко: наверно, стоял и, как зверь из укромья, наблюдал за мной, за маневрами фонарика...

— Слушай, там дальше скирд где-то...

— Знаю... — отозвалась темнота.

— Можешь в стогу заночевать...

— Мне домой надо, — несколько ровнее, успокоеннее отозвался тот.

Выйдя из полосы света и как бы обретя свободу, он почувствовал себя более уверенно и надежно.

— Не дойдёшь ведь... Куда по такой темени?

— А мне надо... — упрямо возразил он.

— Ну, ладно, чёрт с тобой, топай... Не понимаешь ты добра. Совсем одичал. Как брошенный пёс: протянутой руки боишься. Или много пинали тебя?

На всякий случай я обвёл фонариком вокруг себя полкруга, но везде было голо и пусто.

— Эй, где ты там? Чего молчишь?

Он не отозвался.

— Послушай! Хочешь, я дам тебе свой фонарик?! А?! Без него ты всё равно никуда не дойдёшь... Ни полем, ни по дороге. Полем ещё хуже. По-лем вовсе заблудишься. Последние ребра доломаешь. На вот, бери!

Но я кричал ровно впустую.

— Или давай так... Я уйду, а фонарик тут оставлю. Понял меня? Фонарик будет гореть один, без меня.

Я притих, вытянулся в струнку, вслушиваясь, не подаст ли он ответного голоса, но тот раздражающе молчал.

— Ты понял, как? Я включу и оставлю его возле дороги... А ты подойдёшь и возьмёшь... И не будешь ломить напралом. Ведь падать тебе больше никак нельзя. А с фонариком потопает в свою Жаховку чин-чинарём.

Отыскав на краю поля подходящую глыбу, поросшую жёсткой стерней, я утвердил на ней фонарик, направив рефлектор ровно вверх, чтобы свет был виден со всех сторон.

— Слушай меня! — обратился я снова. — Я сейчас три раза помигаю. На счёт “три” я положу фонарик на землю. Усёк? На счёт “три”... Ну, вот,



давай считай! Р-раз... Два-а! Три-и!.. Всё! Ты видел, как я помигал? Это значит, что я кладу фонарик... Вернее, ставлю на попа... Вот, слышишь, отряхиваю ладони, стало быть, в моих руках ничего нет. А теперь ухожу... Честное слово! Вот иду... иду... иду... Ухожу без дураков.

Я и на самом деле ошупью, вслепую перебрался обратно сперва через свежераскучуроченный объезд, а потом и через старую дорожную лычу и сам едва не шлепнулся в одном месте. Нет, не завидую я ночному путнику — ни пешему, ни, тем паче, на колёсах...

— Эй! Где ты там, чёрт возьми!? — окликнул я с досадой. — Я уже на дороге! Фонарик вон где, а я вот где... Можешь подойти и взять... Ну, давай, бери, чего же ты?

Но фонарик, оставленный там, на краю поля, продолжал недвижно и ровно излучать свет в вышину, редая и истончаясь, он растушёвывался чернильной толщей и исчезал бесследно. И я начал выходить из себя. Может, там уже давно никого нет, а я ору, даю ценные указания... Если тот тип смотался, то надо снова лезть через эту отвратительную топь, которая способна сделать бесперспективной не только деревню, но и саму человеческую судьбу. Глупо же оставлять в поле фонарик, впустую жечь батарейки, тогда как свет в любую минуту понадобится здесь — в палатке или около неё.

Я остался стоять у края лозняков, всё ещё медля возвращаться в свой лагерь.

Низко надо мной, так что пахло ветром и запахом влажного пера, беззвучно, словно некий дух, пролетела большая птица, должно быть, болотная сова. И хотя она не обронила ни малейшего звука, рождаемого сильными махами, тишина после неё показалась ещё обнажённое, острее. Сделалось беспокойно и тревожно от сознания, что где-то, возможно, совсем рядом, таится другой человек, как и я, напряжённо, опасливо слушавший ночь и всё, что таилось в ней.

Но как я ни вслушивался, ни тянул шею, всё же не ухватил предвещающих шагов, хотя на глыбистой пахоте вряд ли возможно пробраться совершенно неслышно: что-то заденешь, ковырнёшь сапогом, что-либо да проломится под подошвой, а в такую мокреть в иных местах и самого сапога не вырвешь без хлопка и чавканья. Я увидел только тот момент, когда ровно струившийся сверху пучок электрического света, схваченный у основания мотнувшейся из темноты рукой, будто вырванное с корнем светящееся дерево, внезапно вздрогнул, судорожно рухнул ниц и тотчас погас, исчез бесследно. И только теперь слух уловил поспешные чмокающие прыжки убегающего человека.

Я не стал его окликать, да и не нашёлся сразу. Много спустя, уже на порядочном удалении, фонарик снова ожил, воровато оглянулся, пошарил позади себя и, отведа своё жёлтое око, зачиркал лучом по неровностям земли.

Свет его ещё долго взмелькивал, пока не иссяк, не изжил себя дально.

Утро прозрело поздно и неохотно. Блеклое, обескровленное, словно после болезни, после её изнуряющего перелома, ещё не способное улыбнуться, оно безучастно и кротко глядело с очистившихся высот на распротёртое по ним осеннее пожухлое пространство в колких отсветах пролитой воды, заполнившей все природные ёмкости и прогибы — от луговых низин до убористых пазух дягиля и белокрыла.

Раздумывая о вчерашнем, я лежал в промятой соломе, закинув руки за голову и глядя в утреннее серебро палаточного проёма. Простенькие реалии видимого там — поникшие купы заречных ракич, изреженных дождями, обозначающаяся линия далёкого побережья с тонкой жестяной трубой на просветленном горизонте, трудолюбиво сучившей нескончаемую нить сизого дыма, переливчатая вуаль скворцовой стаи, казалось, ничего не поклевавшей, а может, и потому, что нечего, — с утра, на пустое брюхо устремившейся вон из России, и опять вышедший к берегу пастух, уже не в половецком наверхье, а в простой обмятой кепке, и просто так спросивший, не видя меня: “Сколько время?” — и где-то флейтово поикнувший кулик-перевозчик, подавший кому-то знак к отлёту на ту сторону, — всё это светлое, привычное отстраняло вчерашнее, ночное, творившееся только слухом и взбудора-

женным воображением, и обращало это вчерашнее в какое-то странное саднящее сновидение.

Я, однако, продрог без спального, а пуще — проголодался ещё вчерашним голодом. Пошарив в рюкзаке, я сунул за щёку кубик пиленого сахара, чтобы не сосало под ложечкой, и на четвереньках выполз к мокрому прибитому кострищу с вялым намерением на ещё не собранном валежном сырье хотя бы как-то вскипятить чай.

— А может, лучше попробовать пробраться к стогу и притащить свежую охашку с викой? — рассуждал я, как вчерашний землепроходец, тоже полагая, что меня никто не слышит в этой сиротской неперспективной округе. — Или нашелушить стручков прямо там, под стогом, а потом сварить из черных зернышек кашу?

И тут со стороны дороги послышалось:

— Хозя-и-ин!? А хозя-и-ин! Есть ли кто?

Зашебуршали кусты, хлётко стегавшие концами веток по одежке, и на притоптанную, обжитую мной кулижку выпуталась из хмызы невысоких и некрупных статей женщина в белой с накрапом сельповской косынке, поверх которой сидела ещё клеёчатая шофёрская восьмиклинка с чёрным лакированным козырьком. Её плечи облегла таковская ватная стёганка, в коих ныне уже не выходят за околицу, но которая, однако, сидела на ней ладно, с небрежной домашней уютностью. Обеими руками она держала перед собой рыжий дерматиновый кошель.

— Есть хозяин-то?

Осматриваясь, женщина по-птичьи вытягивала шею и любопытствующе шарилась остренькими, заметно выцветшими глазами, похожими на поздний голубичник.

Медленно, заторможенно, удивлённым питекантропом поднялся я с четверенек — заросший почти недельной сивостью, с овсяной половой в нечёсанных волосах, с отёчными неумытыми глазами.

— Ну, я... хозяин... А что? — не очень приветливо выщедилось из меня.

— Здравсьте вам! — мягко поздоровалась она без лишней робости, и я, все ещё не соображая, что это за утреннее явление, машинально принялся обтирать о свой синий олимпийский зад не очень опрятные после вчерашнего руки.

— Вот, велено передать...

Опустив к ногам кошель, она извлекла из кармана телогрейки блестящий, белого металла фонарик и бережно, на составленных вместе ладонях протянула мне.

— А-а! — сообразил я, наконец, в чём тут дело... — Да-да, это мой фонарик... Мой, мой, спасибо...

— Вы уж извините... Обеспокоили вас...

— Ну, что вы! Какое же тут беспокойство?

Я не знал, что ещё такое сказать, и вместо слов просто так пощёлкал выключателем. Фонарик несколько раз послушно приоткрыл единственный глаз, заспанно и блекло посветил в серое небо.

— Что-нибудь не так? — испуганно шатнулась ко мне женщина. — Я только помыла его, тряпочкой обтерла... Уж не навредила ли?

— Всё так, всё так... — сказал я небрежно, всё же радуясь возвращению фонарика, проделавшего такое странное кругосветное путешествие. По правде, я уже считал его для себя потерянным, вернее сказать, отдавал тогда без возврата. А он — надо же! Чудесным образом опять со мной. — Всё так, всё так... Невелика ценность!

— Ну, как же... Ваня мой говорит, если б не фонарик, ни за что не дошёл бы... Ужась что было! Гляну, гляну в окно, а глядеть некуда... Дождь и черень! Светопреставление! А Ваня говорит: стою середь ночи и не знаю, куда итти. Не знаю, и всё! Куда, говорит, ни ступлю — или яма, или провальная. Было совсем ослаб духом, аж, говорит, Бога давай кликать... Как на войне... Там будто бы тоже так... Вот прижмёт! Вот прижмёт! Дак иной, даже при хорошем звании, капитан или майор, за минуту до того кочетом глядел, а тут — куды гордыня девалась... Жужелкой тыкается, ищет земную

трещину... А сам шепчет в песок: “Господи! Спаси да пронеси...” Дескать, век не забуду... — Она посмотрела на меня внимательно и пытливо. — Ну, а потом, когда минет-то напасть, стряхнёт с себя пыль да комья и опять кокетом глядит, кого клонуть...

— Да-а, вы как на передовой побывали. Всё точно так и было.

— Ну, на той передовой я, конечно не была, — улыбнулась она. — У нас тут теперь своя передовая. Это старший брат мне рассказывал... А то, говорит, было такое... Один раз, где-то на Украине, на хуторе поднялась воздушная тревога. Смотрю, говорит, командир дивизии, генерал, выскочил из хаты и — в лопухи. Там щель была отрыта... А я, говорит, как раз на посту стоял, цею хату охранял... Немец как давай молотить! Ну, куда? Бросил я пост и тоже в лопухи. Да на командира дивизии и угодил, прямо ему на спину... А он ничего, терпит... Тут как садануло, совсем близко, как полетели ветки да бревна, слышу, генерал подо мной: “Свят, свят, светы наши!”

— Все мы человеки! — вскинул я ладони кверху. — И со мной такое было... Ну, а ваш, ваш-то — дошёл? Всё нормально?

— Мой-то? Ой, да едва отполоскала! — подхватила она смешливо, с хорошим запасом певучести в чистом голосе. — Вваливается — то ли он, то ли не он. Одни глаза белые зенькают. Голова колтуном взялась. Стоит на пороге, вашим фонариком светит, забыл даже, что надо выключить...

— Жаловался, будто ребро поломал...

— Кряхте-е-ел! — подтвердила она. — Когда обмывала в корыте, не давал дотронуться. А и правда, аж синяк проступил. Да я мёду с хлебом пожевала, прилепила к боку, а сверху липучкой крест-накрест... Кашляет, а сам морщится. Видно, не шутейное дело. Крепко бахнул.

— Может, доктора надо?

Женщина добродушно рассмеялась, даже шлёпнула себя по бедру.

— Кова доктора! Уже нету! Уже в Макарьино утрёхал!

— Как — утрёхал?!

— Убежа-а-ал! На пятой скорости! — продолжала смеяться женщина. — Боится, что уговор пропадёт. В Макарьинском отделении овощехранилище надумали строить, до морозов хотели успеть, а он доски пилить подрядился. Он у меня росточку не шибкого, говорит, в самый раз на верхнего распиловщика. По бревну целый день бегать — не всякий найдётся. Это же цирк! — засмеялась она. — А Ваня взялся. Он у меня за всё хватается: и за столярное, и за печное, и помалаярничать... Правда, у самого в доме — ласточки на чердак через крышу летают...

— Говорится: сапожник...

— Без сапог! — подхватила она. — Небо-о-сь! С ребром, говорит, обтерплось как-нибудь, пилой отмахаясь, — а сам вострится на меня, смотрит, что на это скажу, не поплю ли в больничку. В болезни, говорит, надобно, чтоб не заклинило. Никак не допуская до этого! А как заклинит — вот тогда кресты! Тогда — в Тополя! Вот такой он прохвесор...

— Тополя — это что? — не понял я. — Кладбище, что ли?

— Да не-е! Больница! Наша районка. Она в старых тополях стоит.

— Поди, барская усадьба.

— Не-е! Так и была больничкой. Ещё до революции. Мужики сложились и сами построили всем миром. Он этих Тополей пуще колючей проволоки боится. В прошлом годе у него что-то с печёнкой занеладилось... То не ест, это отшхивает... Ну, уговорила... А через два дня является: “Маня, встречай Ваню, топи баню!” Стоит на пороге, рот до ушей, из авоськи мои тапки торчат и какая-то железяка, на дороге поднял. Там, говорит, одно томление. Окна законопачены, телевизор поломатый, а бессмертника я и сам накошу... Так что мимо Тополей аж в Макарьино умотал...

— И далеко ли?

— Да сперва на лодке через речку, да верст пять до конторы, а там, может, подвезут... Ополоснулся, прикорнул на сундуке, спал — не спал, а чуть засерело — подскочил! Покряхтывает, лоб тискает со вчерашнего, но терпит, поправки не просит... Щец холодных постребал и побёг, сердешный. Упорхал без кепки, на босу голову... Пусть, говорит, маленько ветерком обдует,

освежит... Вчера, говорит, обронил где-то... Да где ж: тут вот недалече и нашлась. Кверху кутырками в луже плавает, как ладья. Спасибо, хоть не протекает, не затонула часом...

Женщина сняла кепку, повертела так и сяк, поскребла ногтем в каком-то месте и опять надела, присадила ладонью поплотнее.

— А кабы б не фонарик, то как бы не пришлось не кепку, а самую дурную голову на дороге искать... Уж такое спасибо! Такое спасибо!

Она присела на корточки перед кошельем и, вконец засмутив меня, выставила на землю трехлитровую банку молока: “Кипяченое, из погреба только, хотела в приёмку сдать, да не принимают, возить — дороги нет, — банку накрыла большой, как спелый подсолнух, белой лавашинной: — Вчерась напекла, хлеб весь кончился, а за хлебом на станцию благо ли в такую погоду?” — на лепешку пристроила брус сала и головку чеснока, а то, что не удержалось на лепешке, разложила возле, на лопушках: с десятков яиц и сколько-то солёных огурцов, полоснувших по ноздрям смородиновым листом и укропом. И что меня совершенно растрогало, так это полиэтиленовый мешочек с ядрёными, белыми, как перлы, тыквенными семечками.

— Кушайте на здоровье! — сама волнуясь и пыхая смущением, предложила она напевно, как на большом хлебосолье. — Хотела курицу, да не успела б... Боялась, уйдёте или уедете. Такое спасибо! Такое спасибо!

— Ну, что вы! Простая человеческая обязанность! Слышу, кто-то на дороге стонет... Дай, думаю, пойду погляжу...

— Ну, вот... Ну, вот... Слава Богу! — Она широко, откровенно прекрестилась шепотью. — Это вас Бог надумил... Только кажется, что мы всё — сами... А Ваня мой говорит: после вас будто взял его кто-то за руку да так и довёл до самого дома. Больше ни разу не упал, не запнулся.

— Может быть... Может быть... — неопределенно уступил я, хотя можно было и сказать вроде того, что зло за руку к дому не поведёт. И Бог наш есть добро. Но не сказал этого, а, пошлепывая фонариком по ладони, согласился:

— Может быть, и так...

Женщина сунула шофёрскую конфедератку в опустевший кошелек, перевязала на голове косынку и протянула мне свою руку — живую, тёплую, проложенную косточками и жёсткими натёртостями ладонь, полную благодарного отклика. И, конечно, не догадываясь она, что никто другой, а именно вот эта рука и к дому, и к храму, и к человеку всю жизнь вела, а иногда тащила и подпихивала непутёвого Ваню-землепроходца, без коей он давно бы сложил свою разудалую подростковую голову.

— Ну, до свиданья! — сказала она, будто просила разрешения отправиться восвояси.

Уехал я на другой день.

Переночевав, я принялся потихоньку свёртывать свой лагерь: вычистил котелок, смыл с бродней бетонно схватившийся родной чернозём, скатал и увязал спальник, сжёг истёртую солому... Потом разобрал и сложил в чехол две удочки, оставив третью, как бы дежурную. Так вот именно её неожиданно загнуло, и я нежданно-негаданно выволок отменного судака! Вот тоже: помню, на этом крючке больше суток болтался жалкий выполощенный обсосок червяка. Ну, конечно, такой важный чин на два кило солидности с тёмными послужными полосами по серому фракру ни в коем разе не притронуся бы к жалкому оброску. Тут как надо бы рассуждать: на усопшего червя сперва позарился какой-нибудь изголодавшийся, вечно гонимый, без определённого места жительства (бомж), чумазый **слизливый** ершишко. А уж потом только, проверяя виды на проживание, схватил за шиворот ерша, но при этом допустил неосторожность и наш блондистель донного порядка. Но так механистически всё можно препарировать и объяснить. А ежели без учёта ехидства, то не было ни ерша, да вдруг судак! Чудеса! Чистое везение!

Как водится, я съшнул под жабры сольцы, обложил крапивой и, завернув в махровое полотенце, спрятал рыбину на самое дно рюкзака. Другьям на уху. А главное — как наглядность. А то одним словам не поверят.

Меня подобрала цыганская колымажка под парой сытых, гривастых, тёмно-гнедых... Хотел было написать “лошадей”, но это были не лошади, а вот именно кони! Кони, косившие диковатые глаза и отфыркивавшиеся зелёной луговой пеной; в колымажке на дутых колесах и с полосатым тентовым верхом, кроме средних лет цыгана в меховом жилете, гнездилась ещё куча цыганок и цыганят непонятной степени родства.

Цыган прошел на мою кулижку, и пока усмешливо оглядывал приготовленные пожитки, цыганята, препираясь и отталкивая друг дружку, набросились на оставшуюся еду и, азартно сверкая белками и молодыми резцами, мигом схрумкали и счавкали все яйца, огурцы, почти непочатый **шман** сала, полпачки пиленого сахара, запивая всё это молоком из ходившей по рукам трехлитровой банки. Ели они в таком темпе не потому, что были голодны, а от бодрящего сознания внезапно выпавшего фарта.

— Сколько дашь? — всё так же усмешливо спросил большой цыган, буйной зарослью лица похожий на чёрного скотч-терьера.

— Веришь, друг, — развёл я руки. — Нету ничего!

— Ни копейки?

— Вот последний рубль. Но это — на электричку.

Цыган циркнул слюной, обтёр бороду чёрной лапой с белыми ногтями.

— Ладно, поехали! — воскликнул он весело. — Потом всем расскажешь, какой хороший цыган попался. Это дороже денег, верно?

Его готовность отвезти меня, праздного человека, за здорово живёшь заставила моё сердце сделать сильный непредвиденный толчок, ошпаривший меня чувством горячей любви и братства, и, уже искренне любя и счастливо созерцая этого человека, я взволнованно сказал:

— Хотя погоди...

И я развязал рюкзак, достал и протянул ему карманный фонарик.

— Вот...

— Работает?! — прагматично спросил цыган.

— В хороших руках... — сказал я.

— Ну, тогда — хоп!

1992

## АЗ-БУКИ

*Не спрашивай меня о том,  
чего уж нет,  
Что было мне дано в печаль  
и в наслажденье...*

А. Пушкин

В ту весну распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.

Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побеежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.

— Чево дееся! — поглядывала она в кухонное оконце, выходившее как раз в излогу. — Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Ещё недели две опосля Хведота мимо нас на санях ездить бы...

Святочтимого Федота она величала без всякого почтения вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву “ферт”, а на простоволомый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку — кухвайкой, а ругательное “финтифлюшка” произносила как “клинтиклюшка”. За этот её косноязычный выговор я, стыдясь за неё, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву “эф” и что все слова с такой буквой в своём начале и даже внутри — чужие, пришлые, не свойственные нашему звучанию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесённые звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного *ферта*, тогда как удалённые от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямятствуют, не приемлют чужое, двухперстно, раскольню твердя: Хвёдор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвляга, хвуражка, тухли, квасоль, картоха... И было мне, глупому, невдомёк, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, непроизвольного отторжения органов от чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой “эф” осмысливать бытие или без неё?

Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрязнувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых “сорока мучениках”, она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно, своей языческой сущностью больше тяготея не к строгому порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего Бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся внешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорóк, сарычей, грачей и подсорочников.

— Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взащей толкает, — протерла запотевшее стекло бабушка. — А Герасима — Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет... У каждого особ норы. На Василья с крыши капает, а за нос ещё цапает. Ну, да цапай — не цапай, а там уж и сороки — вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито... Кулики-сороки полетят...

Был я тогда лет пяти или в начале шестого, медово рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом, — словом, этакое посконное “чевокало”. У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что, если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щёки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабулей, Варварой Ионовной: под белым косым платочком — жёлтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдёрнутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего... Кофтёнка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья — мышинный горошек с вязелем, — но зато юбка — из грубого волосяного тканья, о которое бабушка походя наводила блеск на всякой меду, — и впрямь первая на ней одежда: без определённых размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг неё, и всё это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел её обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребницу за капустой или в горницу к лампаде за огоньком.

— А сороки — это чево?

— Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.

— А урёма — это чево?

— Лесная чащоба, которую весной половодьем заливают. Урёма, стало быть...

— Дак и чево?

— Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока — та прежний свой домик принимается прихорашивать, а которая впервой — той приходится новый заводить. Сорочье гнездо — не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков — это токмо на донце, два раза по сорок — на застенки, да ещё сорок — на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочиха их кладёт, тот принесёт — та положит, опять принесёт — опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклонется, а они уже за своё. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревьях, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.

— И чево?

— Как это — чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить — вот тебе и весна! Птичья забота.

— А кулики — чево?

— А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок да в другую сорок, да ещё сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти — пить! — эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то! Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чево ни то перепадёт — хлопот и веселья.

По бабушкиным счетам до сороков оставалось ещё два дня, а мне хотелось, чтобы все делалось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома: с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него дегтярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатый луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шёл спать на поостывшую печь.

Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-нибудь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая внешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдце с зелёным конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть — для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежду, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить её на гнездо. Матвевна — серая, дородная, медлительная гусыня — вдрут засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истоиво макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.

От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампы, блекло мерещился голубоватый пламеник, вызывавший у меня, непосвящённого, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не переча этой смиренной горничной тишине и отрешённому свечению негасимо бдящего комелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: “туда-зюда, туда-зюда...”, металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.

Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он един-

ственный во всём доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирию, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трёх верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым рёвом, многократ повторенным дубравным эхом.

Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма весёлый, “процветающий” вид, который придавала им лицевая цифирная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.

Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугунков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара — чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шёл с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдёргивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые нашивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.

— Ну, теперь будем ждать харьковца, — удовлетворённо говаривал дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.

Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной чёрной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные ряды с торчащими кочерьями, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в тёмную глубину.

— Не сёдня-завтра вода сорвёт лёд, — говорила бабушка. — Того гляди, пойдёт во дворы...

— И чево?

— А тово! На печи будем сидеть...

В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаённость реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виделось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золочёных позуметах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая жёлтыми голеними. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому её гребню, поддерживая равновесие отвесно задранном распущенным хвостом, пробирался тётки Затеихи рыжий котиче. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть, мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно приметил все окрестные воробы, и даже мне издалека было видно, что неисправимый пройдоха и плут крадётсЯ к скворешне. Сама же тётка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке, с оголенными до плеч руками, истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице галдели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие “блинцы”... И время от времени всё летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе, долгохвостые сороки.

Иногда перед окном, когда я ел свой хлеб, появлялся дедушкин пёс Сысой — неловкий лопухий увалень желтоватого телячьего окраса. Ему было всего только семь не то восемь месяцев, а он уже сшибал с меня шапку дружеским помахиванием хвоста. Дедушка Алексей под весёлую руку привёз его



от знакомого лесничего как гончего щенка. Ружья, однако, у дедушки не имелось и никогда не было, тем паче что к зайцам из-за торчащих жёлтых резцов он относился с брезгливой опаской и сроду не ел их мяса. Для чего понадобился дедушке именно гончак, начисто не способный что-либо охранять по двору, никто не знал, да и сам дедушка тоже.

— А-а, ладно! — Он с добродушной виной махал от себя ладонью, будто кого-то отпихивал, и, смеясь, разрешал все недоумения. — Пускай себе бегает...

Сысой глядел на меня, склоняя свою огромную голову с ложбинкой посередине из стороны в сторону, обвисая то правым ухом, то левым, нетерпеливо пританцовывал передними лапами или же присаживался на зад и скрёб жёсткой когтистой пятернёй дощатую завалинку. Глаза у него тоже тяжёлые, тёплые, совсем как у бабушки Вари, в них не было ни капешки злости, а лишь открытый и ясный свет доверчивой души щенка, верящего, как и все мы, что он рождён для счастья, и все ему друзья, а ещё — желание пообщаться, дружески лизнуть щеку. Над каждым его глазом бугрилась тёмная родинка с пучком длинных волос. Время от времени он вздёргивал эти родинки, удивлённо морщил лоб, будто недоумевал, почему я, его лучший друг, не отвечаю... И как бы испробовав все способы пробудить моё внимание, приоткрывал адуго, истекающую слюной пасть, встряхивал оборками щёк, коротко и резко выдыхал: “Дай!”

А как я мог дать, если был отгорожен двойной оконной рамой? Хлеб я уже доел, осталось только немного масла на самом донце блюдечка, которое я пытался собрать согнутым пальцем. Давать было нечего, и я замахнулся на Сысою, пробормотав слышанное от взрослых: “Бог подаст!”

Сысой не понял и ещё раз встряхнул брылами: “Дай!”

— Сказано, нету-у! — осерчал я и повернул к нему пустое блюдце. — Видишь, нету ничего? Какой беспонятный!

— С кем это ты балакаешь? — в дверях горницы появилась бабушка Варя.

— Да вон... вытаращился... Лапой скребёт...

— А-а, Сысойка! Щас, щас я ему щец вчорошних... А то, говорят, нехорошо, ежли собака так-то глядит да в своё окно, лается...

— А чево — нехорошо?

— Говорят, не к добру это... Будто к неурожаю, к бесхлебице...

Поди, и верно это: на другой год бабушка уже не выдёргивала лебеду у плетня да по-за сараем, а берегла ее и даже поливала — в хлеб добавлять. Это — в тысяча девятьсот тридцать втором...

И ещё она сказывала, будто перед самой войной точно так же скребся в окно Сысой, уже взрослой собакой, с понятием... Вынесли ему похлевать, а он только понюхал, но есть не стал и сызнава принялся скрести под окном завалинку.

А после войны, в самый раз на день Победы, увидел Сысой в открытом окне дедушку Алексея, сел перед ним и завыл, срывая иссякшим голосом. А вскоре сбежал со двора и больше не вернулся... В том же году по осени ушел из дому и дедушка Алексей — просить милостыню...

В самый канун сороков я проснулся среди ночи от ощущения неуютя, как если бы со мной что-то случилось. Провел языком по тому месту, где ещё днём тепелелась передний зуб, но язык беспрепятственно провалился в ужасающую пустоту. Казалось, что дыра простиралась от уха до уха, будто настезь распахнутые ворота. Большого унижения я никогда прежде не испытывал. Я почувствовал себя таким несчастным, что, отрешившись от всего, одинокий и жалкий, ткнулся ничком в подушку и заревел. Это была моя первая серьёзная потеря, ринувшая меня в бездну предчувствия собственной брэнности.

— Што ты? Што ты? — сонной торопью отозвалась из своего угла бабушка.

Я продолжал гундеть в подушку, дёргаться оголёнными плечами.

Бабушка свесила босые ноги с лежанки.

— Иду, голубь мой! Иду...

В просторной полотняной рубахе с выпавшим на грудь крестиком она присела на край моего топчана.

— Приснилось чево?

— Да-а! — заревел я опять, на этот раз обидевшись на бабушку, на её непонятливость, и сердито вытрубил: — Зу-у-б!

— Ах ты, мой голубчик белый! — Бабушка шершаво огладила мое плечо. — Ну, будя, будя... Горе твоё не горькое. Зубки ещё наростут... Уж не проглотил ли часом?

Она запустила под меня руку, провела ею по простыне и радостно объявила:

— Ан вот он, зубок-то! Нашёлся! Махонький, как зёрнышко! Как пошаничка! На-кось, взгляни!

Глядеть на свой зуб я брезгливо не захотел, и бабушка сказала:

— А вот мы ево щас под печку забросим...

Придерживая щепотью долгую ночную рубаху, она прытко, босоного прошлёпала в кухню, тускло озарённую каганцом на припечке, что-то там пробубнила, чёрной тенью отражаясь в простенке, и вернулась весёлая:

— Ну, вот, отдала зубок... Подарочек сделала...

— Кому? — не понял я.

— А старичку-домовику, што в подпечи живёт... На тебе, говорю, зуб старый, а ты нам за то дашь новый. Зубок новый, калёный, стойчей злата, прочней булата. Не будешь ослушником — дак и даст...

— А он — кто?

— Дак старичок, говорю. Этакой, меньше пальца. Но не гляди, што мал, зато серди-и-ит бывает! Коль не уважишь. Ежли што не так, ни за што печь не истопишь. Будет дымить, глаза высеет. Топишь, топишь — а картошка в чугушке сырьём грохотит... Потому как огонь без силы: руки в него сунешь — и хоть бы што... Это когда он рассерчает... А ежли уважишь — ну, тогда и хлеб спечётся на славу, и каша духовита да рассыпчата... Вот завтра увидим, когда куликов начнём печь... Доволен ли твоим зубом?..

Прикорнув рядом, бабушка Варя ещё долго наговаривала что-то, её негромкие, шелестящие слова лились обволакивающей струйкой, размягчая тело, затуманивая мысли, и я покотился, покотился было куда-то в заполненное тёплой тишиной пристанище, как вдруг в покинутом мной мире раздался резкий и жёсткий вскрик, от которого я вздрогнул, напрягся тревогой.

— Ба-а! — позвал я, потянувшись рукой.

— Вот она я, вот она... — обняла меня бабушка.

— Это — чево? Чево кричало?

— Дак это Матвевна... Спи давай, спи...

— Какая Матвевна? — начисто запамятовал я.

— Да гусыня наша, Мотька! Никак не утомонится, оглашенная. Только сёдни на гнездо посадила. Под лавкой в лукошке сидит. Ишь как гагакнула, аж ведра зазвенели.

— Чево ей?

— Гусей чует. Теперь там в темноте дикие гуси летят. Переговариваются между собой, штоб не потеряться. Я не слышу отсюда, из хаты, а Мотя слышит. И как гомонят на лету, и как крыльями пошвистывают. Ей ведь тоже с ними охота. Все воли хотят, да каждого своё бремя держит...

— Ке-ге-х! — опять призывно, остро, со стальной звонцой вскрикнула Мотя, и жёлтый косячок ночника на выступе печи закачался ответно.

Проснулся я поздно, разморенно, с ленью во всем теле и не сразу вспомнил, какой ныне день. А вспомнив, подскочил, как подстёгнутый, спрыгнул с топчана и кинулся к горничным окнам в предвкушении увидеть что-то необыкновенное, что ожидалось все эти дни. Но за окном клубился серый туман, заполнивший всё пространство будничностью и скукой. Порой его ватные рулоны подкатывались к самой избе, отчего в горнице делалось сумеречно, как в зимнюю выюгу. И только когда мятущиеся клубы отступали вспясть и туманная толща редела, обозначая просветлённые разводы, по скоротечному золочённому сиянию в них угадывалось, что где-то в заречье, понад лесом уже воспряло солнце и принялось за свои неотложные дела.

За космами тумана я не сразу заметил устрашающую близость полой воды. Зловеще тёмная под сизой наволочью, она уже не подбиралась вкрадчиво, а, вся в разводах пенных завитков и воронок, истоиво, напористо мчалась в нескольких шагах от завалинки, так что я поначалу даже отпрянул, утрасась этой её близости.

— Видал, чево деется? — окликнула меня бабушка, громыхтевшая на кухне утварью. — Не упомню такой воды. А теперь вот туман доест последний снежок — того боле прибавит. Хоть берись вязать узлы да на чердак стаскивать... А дедка наш и не ночевал ноне. Все чужие лодки смолит. А своя, небось, щелястая...

В избе было натоплено, половицы ласково теплили босые ноги, сама же печь, уже прикрытая заслонкой, умиротворённо, вся в знойной истоме, ещё издали двошила сухим крепким жаром, источая дух калёных кирпичей с пряной примесью ржаного хлеба.

Вид большой деревенской дежи, уже опорожнённой, заляпанной остатками теста, и это живое обволакивающее дыхание истопленной печи вернуло мне чувство праздничной необыкновенности. И в то же время холодом полоснуло при мысли, что всё уже состоялось без меня, что самое главное я проспал...

— А где кулики? — поспешил я выяснить в испуге.

— Ишо и не думала, — обидно сообщила бабушка.

— Как не думала? — враз разлюбил я её. — Ты же говорила.

— Ну, да не пришёл черёд. Сперва хлеб надобно. Буден день правит всякий праздник. В будни не поешь, дак и в святой день калачом не наешься. Вот токмо хлебушко посадила, помогай Господь. Ну-ка, семь ковриг вымесить: две взаймы брато, ещё две — тоже не себе, остальные — наши. Это же кажную вынянчить да огладить, да на под высадить... Жаркая это затея, небось, кувшин квасу испила... Так што, голубь мой, за куликов ишо не бралась. Вот передохну маненько, да и примемся с тобой за свистульки.

Бабушка присела на лавку, сложила в колени расслабленные руки с грубыми, онемело замершими пальцами, и я, глядя на них, тайно удивлялся, как можно такими корявыми пальцами что-либо вылепить из непослушного теста.

И уже убрав со стола всё лишнее, выскребя ножом столешницу и высевая пшеничную муку тонким волосняным ситом, она наговаривала мне, восторженно следившему за каждым её действием:

— Кулик — это тебе не то да сё, да энто самое... Ево из хлебного остатка, из одолев не вот-то скварнакаешь. Сиволапый получится. Кулик — он ба-а-а-рин. Што лепился-то ладно да послаже был... Вот берегла запасец на случай хвори, избавь, Матерь Божья, ну, да ладно, коли слово дала.

Ситечко величиной с обеденную тарелку часто, монотонно мелькало в её руках. Бабушка удерживала посудинку одними только пальцами, тогда как сами ладони оставались свободными, коими она и подгалкивала лубяной обод то вправо, то влево, и так часто, что казалось, будто это вовсе не сито, а весёлый плясовой бубен в её оживших руках: та-ти, та-ти, та-ти, та-ти...

Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и провёл по столешнице произвольную зигзагу.

— Эт ты чево нахудожничал?

— Так просто...

— Уж большой просто так пальцем водить, — осуждающе сказала бабушка.

— А как? — я не понял строгости в её голосе.

— Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы?

— Н-не-к...

— Вот тебе раз! Выходит, я — темень, и ты не больно-то грамотей.

Бабушка стёрла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте подсеяла свежей муки.

— Вот и давай... И бумаги не надо, и карандаш при тебе.

Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку.

- “Аз” знаешь?
- Это чево?
- Буква такая. Самая первая.
- Н-не-к...
- Пиши палочку.

Одолевая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: повдоль или попере́к? — я, наконец, решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей науки.

— Так! — одобрила бабушка. — Теперича энту самую орясину да подпри другой... Чобы та не упала. Понял, как?

- Угу-у! — готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно.
- Подпёр?
- Ага-а!

— Так. А теперича прибеи между ними посередине тесовину. Одним гвоздём прибеи к левому столбу, а другим — к правому.

— Готово! — кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди, и в молоток...

— Ну, вот тебе и “Аз”! — она перестала нашлёпывать сито и оглядела меня с пристрастием. — Запомнил?

— Ага! — поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного Аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил навсегда.

- А теперича пиши “Буки”...
- Где писать?
- Рядком и пиши, сперва “Аз”, потом “Буки”...

На “глаголе” — этом суровом аскетическом знаке, всегда потом казавшемся мне орудием Голгофы или знаком Аппиевой дороги, у бабушки закончилась белая мука и моё учение само собой оборвалось. Я сбегал в горницу взглянуть, оставалась ли вода в прежней поре или ещё ближе подобралась к дому. Бабушка же принялась подмешивать в деже остатное от хлеба тесто, после чего выложила колоб на стол и заходила по нему обоими кулаками, ловко, со шлепками подтётёшкивая и подминая один край под другой.

Но вот тесто готово, бабушка нащипала от него несколько комков, затем, всё так же неуловимо мелькая и шелестя ладошками, бесформенные комья превратила в аккуратные яблочки, которые, в свою очередь прищёпнув на столе, раскатала в удлинённые лепёшки, похожие на подошвы: носочек — пошире, пяточка — поуже. На широкой части подошвы бабушка сделала несколько просечек ножом, обозначивших перья распушённого хвоста, такие бывают у голубей, когда они парят на одном месте. Два боковых отростка, там, где должна быть талия, один справа, другой слева, она отогнула на спину, уложила друг на друга и в этом месте пальцем сделала вмятину — получились как бы сложенные на спине крылья. Узкую же часть подошвы бабушка приподняла кверху, отчего птица тотчас вскинула шею и насторожилась, после чего ловкими, быстрыми щипками она обрамила птичью головку узорчатым кокошником, а двуперстиями каждой руки одновременно оттянула и округлила немного теста, так что у кулика получилось сразу два носа — один спереди, как и положено, а другой — на затылке, вроде как запасной.

— У-ух! — шумным выдохом подытожила бабушка и бережно приподняла на руке кулика. — Ну, здравствуй!

И что-то ещё поправив на фигурке, сказала:

— Сбегай-ка в сени, там калина висит, глаза сделаем...

— Ух ты! — ещё больше завосхищался я и, как был босый, вышмыгнул в дверь.

От вставленных на месте глаз калиновых ягод кулик и вовсе ожил, воспринял каким-то азартом бытия, словно был готов вскочить на лапки, побежать спорными строчками, затрепетать крыльями, а то и запустить один из носов в миску с водой и протрубить свою весну. Ах, как мне не терпелось схватить птицу и помчаться с ней куда-нибудь на волю, на тёплые проталины!

Тем временем бабушка принялась за следующего кулика, а я, опершись о стол подбородком, очарованно созерцал только что родившуюся птицу, полонившую моё воображение.

Единственное, что не очень нравилось мне в кулике, — это два его клюва. Как так? Почему? — недоумевал я и робко поведал бабушке о ее ошибке.

— Неуж? — удивилась она весело, уже живя праздником, родившимся от работы, от чудотворности её рук.

— А вот смотри: один нос тут, а другой тут, — указал я на оба клюва.

— Какой приметливый! — восхитилась бабушка. — А я дак и без внимания. Леплю да леплю. Этак вроде ладнее: щипнул-крутнул и — на тебе.

— Так неправильно! — убеждённо уличал я искусство во святой лжи.

— Матушка моя этак лепила, и её матушка... Спокон веку.

— Ну, неправильно же! — горячился я.

— И пусть себе... — благодушествовала бабушка. — Лишнего не склюет...

— Ну, ба-а! — совсем заобижался я оттого, что не хотели понять очевидное. — Ведь так не бы-ва-е-ет!

— А как, голубь мой?

— Все птицы должны быть с одним носом! — провозгласил я истину, обязательную для всех.

— Ну, ладно, ладно, — закивала она согласно. — Ты уж прости меня, глупую. Все так делали, и я так... Это ж всё для веселья, для праздника.

И, приподняв на ладони ещё одного готового кулика, запричитала напевно:

*Куличок-веснячок!  
На тебе зиму,  
А нам лето!  
На тебе сани,  
А нам телегу!*

Голос у бабушки тонкий, паутинчатый, с переливной звенью, пела она не шевеля губами, отчего казалось, будто пение помимо неё возникало из самой тишины. Особенно любил я слушать её пение, когда она строчила на своём “Зингере”: её негромкая звонца вкрадчиво переплетала мерный шелест швейного челнока.

*Кулики куликали.  
На кугиклах пикали.  
Пикали, пикали,  
Красну весну кликали.*

Бабушка тронула меня за плечо: “Давай, запоминай, прилаживайся”, — и продолжила закликать Весну:

*Ты приди, красна девица,  
Дай из рук твоих напиться.  
Наконец, пришла пора хлеба!*

Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: “Ох, заигралась я!” Она даже переменялась в лице, посерьёзнела, губы сдёрнула суровым шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное оружие — большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя знамением, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред огненной пастью самого Змея Горыныча. Ещё раз мелко покрестив пазуху, она решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна крутого жара. В чёрном печном нутре завиднелись глянцевитые маковки тучных ржаных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным духом.

Крючком кочерги бабушка подценила крайнюю ковригу, вытащив её на загнетку, поворочала туда-сюда, похлопала и вдруг припала к ней лицом — оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара.

Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной деревянной лавке, с чистого гусиного крыла побрызгать водицей, чтобы умягчить корочку, накрыть холщовыми рушником, после чего оставить хлебушко благостно отдыхать и вызревать окончательно, набираться силы, сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежели бы при этом не топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали сквозняков и вообще лучше, ежели дверь притворить и хлеб оставить наедине, без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрёт, как ушибленная душа.

— Ну, слава те... — выдохнула бабушка. Она обникла на лавке рядом с хлебными кругляшами, разбросала снова ставшие ненужными руки, недвижно уставилась долу и вдруг воспрянула, воссияла, как прежде: “Чево я сижу, непутёвая?! Чево дожидаетеся! Покамест ослабнет? Пора куликов румянить!”

Бабушкина юбка опять заволнобродила по кухне, и, поди, через полчаса одна из свежеиспеченных птах уже была в моих руках. С рубиновыми глазами из калины, сиявшими пуще, чем прежде, весь ещё хрупкий, неотвердевший, пламенный, куличок радостно обжигал пальцы, и я перебрасывал его шершавое ореховое тельце с вкусными подпалинами на боках с ладони на ладонь, терпя жар, ликуя и пролепетывая бабушкино присловие:

*Куличок-веснячок!  
На тебе зиму,  
А нам лето!*

Я сразу полюбил его, проникся родством и соучастием в вешнем таинстве, напрочь забыв, что у него два носа, не положенных одному едоку. И мы помчались по избе отыскивать благодать. Залетели в горницу, где всё так же озабоченно прихрамывали ходики с жестяной гирькой, внутрь которой было что-то насыпано. В простенке на одиноком гвозде висели чёрные ножницы, похожие на присевшую передохнуть острокрылую ласточку-касатку. Бабушка кроила ими косячки для доскутного одеяла, а дедушка Алексей под праздники обравнивал себе бороду, выворачивая глаза, будто в упряжке его конёк Мальчик, косо заглядывая в квадратик зеркальца, зажатого в большой разлазой ладони, и неловко, криволапо, чаще всего мимо чвырка стальными крыловидными лезвиями.

Мы присели на сундук, застеленный грубой домотканой попоной, ярко игравшей сочетанием черно-белых полос и красных, зелёных и голубых квадратов между ними. Для обители мы выбрали себе зелёное и голубое, потому что зелёное означало долгожданную зелёную травку, а голубое — чистую светлую воду, заречное Линёво озеро, где, по правде, я и сам ещё ни разу не бывал, а только слыхивал...

Потом перепорхнули на окно, где действительно уже воцарилось лето, потому что там росли настоящие живые цветы — бабушкины фуксии. С подпирающими лесенками из сосновых лучинок, с синими китайскими фонариками самих цветов, высланными изнутри чем-то розовым, нежным, сияющим, отчего казалось, будто там, внутри, и в самом деле горели, светились маленькие восковые свечи.

А за окном празднично сияло солнце. Оно наконец-то одолело туман и всю голубило небо и воду, слепяще взблескивая на оторочках облаков, ключьях уцелевшего снега, на изломах мимо проносящихся льдин и чешуйчатой ряби под вешним ветром. И не удержалась душа:

— Ба-а! А ба-а! Ладно, я на улицу?..

— Не выдумывай! — решительно отвергла бабушка.

— Ну, ладно?..

— Знаю я тебя: враз по гузку залезешь.

К бабушке я приехал во всем зимнем, а главное — в валенках. Кто же знал, что “Хведот” потопнет у ворот...

— Ну, ба-а?..

— Токмо штоб с крыльца ни-ни-ни!..

...Не бывает на свете стран слаще крыльца отчего дома вешней порой!

Двор неистово сверкал бесчисленными бриллиантами, вытаявшими из подзаборных снегов. С огородов на улицу сквозь щелястый плетень мчался гомонливый поток, полный такого же неудержимого живого сверкания.

С навеса над крыльцом, из водоотводного ковшика бегло, спеша успеть, срывалась бесконечными чётками слепящая капель и била, била в выдолбленную ледышку у порога. Само же крыльцо, залитое солнцем, курилось ленивым парком, и от подсыхающих досок невнятно веяло солодовым запахом ивовой колоды.

*Ты приди, краса-девица,  
Дай из рук твоих напиток! —*

завопил я от крыльца от невозможности молчать и воздел кулика к солнцу. — О-йо-йо-ё!

Видимо, услышав моё истинно языческое обращение к небесам, с теплой погребницы поднялся и, потянувшись, вякнув пустым нутром, прямо по всем этим хрусталам и алмазам, кроша зыбкие сверкающие мироздания огромными когтистыми лапами, ко мне побрёл вялый, заспанный Сысой, вовсе не подзревавший, что сегодня такой необыкновенный день. Впрочем, на середине двора он что-то заподозрил, поводит башкой и, уставясь на трубу, откуда, должно быть, всё ещё тянуло печивом, долго, старательно нюхал воздух, шевеля мокрой наплёпкой носа, время от времени медленно приоткрывая пасть и как бы перекладывая бесполезные челюсти в более удобное положение.

В чём-то убедившись, Сысой присел прямо в отражённое солнце, почесал задней лапой за обвислым ухом, после чего пощёлкал ко мне беспечной развалочкой, ещё издали завил ухом хвостом. И чем ближе походил он, тем вилял всё ретивей, так что перед самым порогом принялся вихлять и всем задом.

— Привет! — сказал я ему горделиво с высоты крыльца.

Тот ещё больше завихлялся и, льстиво прижимая уши, ткнулся в мой живот, потом осторожно, деликатно понюхал кулика в моей руке.

— Нельзя! — сказал я неодобрительно.

Сысой неохотно отстранился и устоялся на мою руку, не сводя с неё тёплых подсолнечных глаз с черными бусинками зрачков. Но не утерпел и опять потянулся мордой.

— Не лезь, дурак! — я спрятал кулика за спину.

Сысой передними лапами заступил на крыльцо и заглянул за мою спину.

— Говорю, не лезь! — повысил я голос, с трудом отворачивая прочь голову Сысою.

Сысой нехотя попытлся с крыльца и, усевшись напротив, нетерпеливо, вожделенно лизнул свой пупырчатый нос длинным и мокрым языком.

— Дай! — произнёс он не очень уверенно.

— Не дам! — решительно отказал я. — Его не едят. С ним играют. Он нам лето принесёт! Травку и тёплое солнышко!

— Дай хоть понюхать... — ёрзнул задом Сысой.

— Сказано, не дам! Иди, дурак, если простых человеческих слов не понимаешь. Был балбес, балбесом и остался.

Сысой вздёрнул тёмные шишки над глазами, отчего морда его обрела скорбное выражение, и заглянул мне в глаза внимательным, смущающим взглядом.

— Ба-а! — загунявил я, не поняв этого взгляда, и на всякий случай приподнял кулика над своей головой. — Сысой кулика нюхает!

На мою беду, Сысой откликнулся мгновенно и решительно: слегка встав на задних лапах, он дотянулся до кулика и мгновенно спал его вместе с моей рукой. Я лишь успел почувствовать жаркий охват влажной пасти и какое-то клокочущее всасывание воздуха, а когда Сысой снова опустился на прежнее место, кулика как не бывало. А главное, на моей обслонявленной ладони, только что побывавшей между ослепительно белыми зубами, я не увидел ни единой царапины. Оторопело, не в состоянии ничего промолвить, я глядел то на свою руку, то на Сысою, а он, обмахнув себя долгим пламенным язычищем, удовлетворённо переступил передними лапами и добродушно заухмылялся во всю свою безразмерную пасть, как бы подводя общий итог нашим препирательствам: “Ну, вот! Теперь всё справедливо: сам есть не хочешь — отдай другому”.

И тут меня прорвало. Я заревел — заревел некрасиво, каким-то утробным рёвом на самых низких басовых и силовых нотах — так мне сделалось обидно от этой неожиданной выходки Сысои, от грубого его насилия.

На крыльцо выбежала встревоженная бабушка, принялась теревить меня расспросами.

— Да-а-а... — ревел я. — Сы-со-о-ой...

— Сысой? Укусил?! Покажи, где...

— Кулика съе-е-ел...

— Ах ты, проклятухий! — Бабушка схватила в сенях метлу.

Сысой взвизгнул по-щенячьи и, подобрав хвост, опрометью рванул в огороды.

— Вот я т-тя! Наказание на нашу голову! — Бабушка гневно постучала комлем метлы о порог. — Попадись мне! Никак не наглотаешься! Я ж токмо те картоху отдала. Да сам к поросёнку залез, мешанину полопал... Какова ишо рожна?

Сысой, спрятавшись за плетень, опасливо заглядывал в дырку, виновато, понуро слушал попреки.

— Ну, будя, будя... — Бабушка щепотью цапнула за мой мокрый нос и повела в избу.

— Мэ-э... — ревел я бычком.

— Не плачь: я те другова кулика дам... Ну, хочешь, я кулика вареньем намажу?

Я заревел ещё пуще, потому что мне нужен был не кулик-еда, а кулик-праздник, которого я полюбил и которого мне было неутешно жалко. Другого кулика я не хотел, даже намазанного вареньем. Но этой своей утраты я тогда объяснить не мог и только отвергал все бабушкины посулы и увещевания, отказался и от обеда и, забившись под косой столик в красном углу горницы, где расположился киот и горела лампада, горестно оплакивал невосполнимое, что на языке взрослых называлось “не хлебом единым”...

— А вот повой, повой, — ссорилась уже со мной бабушка, утратившая надежду выманить меня из-под стола. — Бог услышит твоё вытье и накажет. Ибо сказано: грешен тот, кто плачется о самом себе... Понял?

Дедушка Алексей объявился надвечер, по косому солнцу. Он тут же вытащил меня из-под столика, пяткой ладони отёр моё набрякшее лицо и молча усадил есть с ним парящие щи с сушёными опёнками. Это сразу сняло всё моё напряжение, и я стал ровнее дышать и видеть предметы. Перед тем как почать новую ковригу, он тоже перекрестился в моментной строгости, после чего отрезал добрую закаристую горбушку, посолил круто, встал и вышел на крыльцо. Я слышал, как он повистел Сысою, тот обрадованно прибежал, начал визгливо подпрыгивать, но, получив хлеб, сразу же убежал и затих на погребнице.

— Пойдём настоящих куликов смотреть, — сказал дедушка за обедом. Мы ели из одной большой черепушки, каждый со своего края, и когда дедушке попадались чёрные вёрткие опята, он перекладывал их в мою неловкую ложку.

Собирал он меня по-своему: запеленал в свой старенький полушубок, опоясал суконным кушаком и в таком шубном, пахнущем овчиной куле отнёс на брёвна, что лежали у ворот на улице.

Вода наливалась зарёй в двух саженьях от брёвен. Первым делом дедушка воткнул прутик у её кромки. Он опасался дальнейшей прибылости и потому принёс моток колочей проволоки, топор, битый кувшин с гвоздями и принялся опутывать подо мной брёвна, чтобы не растащило половодьем.

— Проволока-то эта ещё от Колчака, — говорил дедушка сквозь усы, из которых торчал гвоздь. — Тут её полно было намотано. Особенно по тому берегу. Токмо ленивый не натаскал, — и засмеялся: — Теперя друг от друга городимся.

Иногда совсем близко проплывала заблудившаяся льдина, и было слышно, как она пахала и скребла дно, сотрясая берег и брёвна, на которых я обретался, спелёнутый и недвижимый. Я пугался её близости и сокрытой мощи, и чудилось мне, будто это не просто лёд, а огромное животное брело по дну, выставив только спину, грязную, затрушенную соломой и конскими катышами, и я окликал в тревоге:



— Деда-а!

— Тут я, тут...

Дедушка хватал острогу на долгом шесте и, упершись трезубой остью в льдину, отводил её зад под струю. Течение медленно воротило громадину, сволакивало с мели и, подхватив, уносило прочь.

— Нечево ей тут делать, — провожал льдину глазами дедушка. — От них потом грязь одна...

Прибежал Сысой, похлебал возле воткнутого прутика, полил на него и улёгся под брёвнами.

Постепенно заусумерило, утонул во мгле, истаял тот берег с лесным загравком на краю неба. И чем заметнее угасал день, тем ярче расцветала зоревой позолотой речная гладь с резкими прочерками бегущих льдин, кругами сыгравшей случайной рыбы.

Вот в светоносном вечереющем небе послышался гортанный переключик. Усталые звуки, иссякая, бесследно таяли в просторах безоблачной выси.

— Гуси! — Дедушка восторженно замер, прижав к темени шапку.

Я распахнул пошире полупубок и в просвет ворота увидел долгую вереницу больших тяжёлых птиц, бронзово сиявших крыльями на неспешном махе. Должно быть, завидев воду, стая начала разворачиваться, наконец, порвалась на две ватаги, и обе, снижаясь порознь — одна всё ещё бронзовея в закатном трепете зари, другая — уже подёрнутая мгlistой синью, — переключились с тревожной озабоченностью, как бы боясь потерять друг друга.

— Уморились... Шутка ли — Росею перелететь! — сочувственно и уважительно сказал дедушка. — Ночлег ищут. Остров али мелкую снежницу на лугу. Вот ведь как у них строго: все полягут без сил, а сторожа будут стоять на часах, тянуть шею, зыркать туда-сюда, пока не сменит свежая вахта. Чтoб никто не подкрался.

— И волк?

— Дак и волк.

— И лисица?

— Куда ж ей, ежели кругом вода...

— А снежница — это чево?

— А это и есть снежная вода. Она хоть и мелкая, а не подойти: шаги далеко слышно.

А между тем река незаметно догорала, невесть когда сошла с неё позолоченная фольга, и вода взялась сизой окалиной, переходящей в бархатную тьму по кутным местам.

На подоконнике горничного окна жёлтым язычком затеплилась керосиновая лампа. Это бабушка выставила её подсветить нашему деду.

Но дело уже было закончено, и мы оставались на брёвнах просто так, отходя в ночь вместе с окружающим пространством. Мир, погружаясь в темноту, не утихал и даже, казалось, являл своё бытие с новым усердием. Невидимо струилась, всплёскивала, теребила затопленные ивняки, звенела льдистой осыпью и где-то тяжело ухала земляными подмывами ночная река, тысячеголосо квохтало, цвикало, утино покрякивало, попискивало мелкой птичьё бездонное небо, и тихо прорезался, обозначив восток, ясный коготок молодого месяца.

Совсем низко, так, что мне почудилось прохладное опуханье на щеках, пролетели какие-то птицы, и донеслись охватистые взмахи широких крыл: вах, вах, вах, вах...

— Чибиса пошли, — дедушкин голос почему-то отдалился.

— А чибис — это чево?

В тёмной утробе полупубка было тепло, дремотно, и я уже не знал, было ли то явью, когда почудилось свыше: “Братцы, туда ли мы летим?” — и: “Туда, туда!” — “Тут где-то Чевóкало живёт...” — “Да тут он, тут! Вон окно в его избе светится!...”

Летели кулики...